

Антон Чехов

Жена



*Часть сборника
Рассказы. Повести. Пьесы*



Антон Павлович Чехов

Жена

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=176152

Аннотация

«Милостивый государь, Павел Андреевич! Недалеко от нас, а именно в деревне Пестрове, происходят прискорбные факты, о которых считаю долгом сообщить. Все крестьяне этой деревни продали избы и всё свое имущество и переселились в Томскую губернию, но не доехали и возвратились назад. Здесь, понятно, у них ничего уже нет, всё теперь чужое; поселились они по три и четыре семьи в одной избе, так что население каждой избы не менее 15 человек обоего пола, не считая малых детей, и в конце концов есть нечего, голод, поголовная эпидемия голодного или сыпного тифа; все буквально больны. Фельдшерица говорит: придешь в избу и что видишь? Все больны, все бредят, кто хохочет, кто на стену лезет; в избах смрад, ни воды подать, ни принести ее некому, а пищей служит один мёрзлый картофель. Фельдшерица и Соболев (наш земский врач) что могут сделать, когда им прежде лекарства надо хлеба, которого они не имеют? Управа земская отказывается тем, что они уже выписаны из этого земства и числятся в Томской губернии, да и денег нет. Сообщая об этом вам и зная вашу гуманность, прошу, не откажите в скорейшей помощи. Ваш доброжелатель...»

Содержание

I	4
II	11
Конец ознакомительного фрагмента.	20

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ

Жена

I

Я получил такое письмо:

«Милостивый государь, Павел Андреевич! Недалеко от нас, а именно в деревне Пестрове, происходят прискорбные факты, о которых считаю долгом сообщить. Все крестьяне этой деревни продали избы и всё свое имущество и переселились в Томскую губернию, но не доехали и возвратились назад. Здесь, понятно, у них ничего уже нет, всё теперь чужое; поселились они по три и четыре семьи в одной избе, так что население каждой избы не менее 15 человек обоего пола, не считая малых детей, и в конце концов есть нечего, голод, поголовная эпидемия голодного или сыпного тифа; все буквально больны. Фельдшерница говорит: придеши в избу и что видиши? Все больны, все бредят, кто хохочет, кто на стену лезет; в избах смрад, ни воды подать, ни принести ее некому, а пищей служит один мёрзлый картофель. Фельдшерница и Соболев (наш земский врач) что могут сделать, когда им прежде лекарства надо хлеба, которого они не имеют? Управа земская отказывается тем, что они уже выписаны из этого земства и числятся в Томской губернии,

да и денег нет. Сообщая об этом вам и зная вашу гуманность, прошу, не откажите в скорейшей помощи. Ваш доброжелатель».

Очевидно, писала сама фельдшерица или этот доктор, имеющий звериную фамилию. Земские врачи и фельдшерицы в продолжение многих лет изо дня в день убеждаются, что они ничего не могут сделать, и всё-таки получают жалованье с людей, которые питаются одним мёрзлым картофелем, и всё-таки почему-то считают себя вправе судить, гуманен я или нет.

Обеспокоенный анонимным письмом и тем, что каждое утро какие-то мужики приходили в людскую кухню и становились там на колени, и тем, что ночью из амбара вытащили двадцать кулей ржи, сломав предварительно стену, и общим тяжелым настроением, которое поддерживалось разговорами, газетами и дурною погодой, – обеспокоенный всем этим, я работал вяло и неуспешно. Я писал «Историю железных дорог»; нужно было прочесть множество русских и иностранных книг, брошюр, журнальных статей, нужно было щёлкать на счетах, перелистывать логарифмы, думать и писать, потом опять читать, щёлкать и думать; но едва я брался за книгу или начинал думать, как мысли мои путались, глаза жмурились, я со вздохом вставал из-за стола и начинал ходить по большим комнатам своего пустынного деревенского дома. Когда надоедало ходить, я останавливался в кабинете у окна и, глядя через свой широкий двор, через пруд и голый

молодой березняк, и через большое поле, покрытое недавно выпавшим, тающим снегом, я видел на горизонте на холме кучу бурых изб, от которых по белому полю спускалась вниз неправильной полосой черная грязная дорога. Это было Пестрово, то самое, о котором писал мне анонимный автор. Если бы не вороны, которые, предвещая дождь или снежную погоду, с криком носились над прудом и полем, и если бы не стук в плотницком сарае, то этот мирок, о котором теперь так много шумят, казался бы похожим на Мертвое озеро – так всё здесь тихо, неподвижно, безжизненно, скучно!

Работать и сосредоточиться мешало мне беспокойство; я не знал, что это такое, и хотел думать, что это разочарование. В самом деле, оставил я службу по Министерству путей сообщения и приехал сюда в деревню, чтобы жить в покое и заниматься литературой по общественным вопросам. Это была моя давнишняя, заветная мечта. А теперь нужно было проститься и с покоем, и с литературой, оставить всё и заняться одними только мужиками. И это было неизбежно, потому что кроме меня, как я был убежден, в этом уезде положительно некому было помочь голодающим. Окружали меня люди необразованные, неразвитые, равнодушные, в громадном большинстве нечестные, или же честные, но взбалмошные и несерьезные, как, например, моя жена. Положиться на таких людей было нельзя, оставить мужиков на произвол судьбы было тоже нельзя, значит, оставалось покориться необходимости и самому заняться приведением мужиков в

порядок.

Начал я с того, что решил пожертвовать в пользу голодающих пять тысяч рублей серебром. И это не уменьшило, а только усилило мое беспокойство. Когда я стоял у окна или ходил по комнатам, меня мучил вопрос, которого раньше не было: как распорядиться этими деньгами? Приказать купить хлеба, пойти по избам и раздавать – это не под силу одному человеку, не говоря уже о том, что второпях рискуешь дать сытому или кулаку вдвое больше, чем голодному. Администрации я не верил. Все эти земские начальники и податные инспектора были люди молодые, и к ним относился я недоверчиво, как ко всей современной молодежи, материалистической и не имеющей идеалов. Земская управа, волостные правления и все вообще уездные канцелярии тоже не внушали мне ни малейшего желания обратиться к их помощи. Я знал, что эти учреждения, присосавшиеся к земскому и казенному пирогу, каждый день держали свои рты наготове, чтобы присосаться к какому-нибудь еще третьему пирогу.

Мне приходило на мысль пригласить к себе соседей-помещиков и предложить им организовать у меня в доме что-нибудь вроде комитета или центра, куда бы стекались все пожертвования и откуда по всему уезду давались бы пособия и распоряжения; такая организация, допускавшая частные совещания и широкий свободный контроль, вполне отвечала моим взглядам; но я воображал закуски, обеды, ужины и тот шум, праздность, говорливость и дурной тон, какие немину-

емо внесла бы в мой дом эта пестрая уездная компания, и спешил отказаться от своей мысли.

Что касается моих домашних, то ждать от них помощи или поддержки я мог меньше всего. От моей первой, отцовской, когда-то большой и шумной семьи уцелела одна только гувернантка m-lle Marie, или, как ее звали теперь, Марья Герасимовна, личность совершенно ничтожная. Эта маленькая, аккуратная старушка лет семидесяти, одетая в светло-серое платье и чепец с белыми лентами, похожая на фарфоровую куклу, всегда сидела в гостиной и читала книгу. Когда я проходил мимо нее, она, зная причину моего раздумья, всякий раз говорила:

– Что же вы хотите, Паша? Я и раньше говорила, что это так будет. Вы по нашей прислуге можете судить.

Моя вторая семья, то есть жена Наталья Гавриловна, жила в нижнем этаже, в котором занимала все комнаты. Обедала, спала и гостей своих принимала она у себя внизу, совсем не интересуясь тем, как обедаю, как сплю и кого принимаю я. Отношения наши были просты и не натянуты, но холодны, бессодержательны и скучны, как у людей, которые давно уже далеки друг другу, так что даже их жизнь в смежных этажах не походила на близость. Любви страстной, беспокойной, то сладкой, то горькой, как полынь, какую прежде возбуждала во мне Наталья Гавриловна, уже не было; не было уже и прежних вспышек, громких разговоров, попреков, жалоб и тех взрывов ненависти, которые оканчивались обыкновенно

со стороны жены поездкой за границу или к родным, а с моей стороны – посылкой денег понемногу, но почаще, чтобы чаще жалить самолюбие жены. (Моя гордая, самолюбивая жена и ее родня живут на мой счет, и жена при всем своем желании не может отказаться от моих денег – это доставляло мне удовольствие и было единственным утешением в моем горе.) Теперь, когда мы случайно встречались внизу в коридоре или на дворе, я кланялся, она приветливо улыбалась; говорили мы о погоде, о том, что, кажется, пора уже вставлять двойные рамы и что кто-то со звонками по плотине проехал, и в это время я читал на ее лице: «Я верна вам и не порочу вашего честного имени, которое вы так любите, вы умны и не беспокоите меня – мы квиты».

Я уверял себя, что любовь давно уже погасла во мне и что работа слишком глубоко захватила меня, чтобы я мог серьезно думать о своих отношениях к жене. Но, увы! – я только думал так. Когда жена громко разговаривала внизу, я внимательно прислушивался к ее голосу, хотя нельзя было разобрать ни одного слова. Когда она играла внизу на рояли, я вставал и слушал. Когда ей подавали экипаж или верховую лошадь, я подходил к окну и ждал, когда она выйдет из дому, потом смотрел, как она садилась в коляску или на лошадь и как выезжала со двора. Я чувствовал, что у меня в душе происходит что-то неладное, и боялся, что выражение моего взгляда и лица может выдать меня. Я провожал жену глазами и потом ожидал ее возвращения, чтобы опять увидеть в окно

ее лицо, плечи, шубку, шляпку; мне было скучно, грустно, бесконечно жаль чего-то, и хотелось в ее отсутствие пройтись по ее комнатам, и хотелось, чтобы вопрос, который я и жена не сумели решить, потому что не сошлись характерами, поскорее бы решился сам собою, естественным порядком, то есть поскорее бы эта красивая 27-летняя женщина состарилась и поскорее бы моя голова стала седой и лысой.

Однажды во время завтрака мой приказчик Владимир Прохорыч доложил мне, что пестровские мужики стали уже сдирать соломенные крыши, чтобы кормить скот, Марья Герасимовна смотрела на меня со страхом и недоумением.

– Что же я могу сделать? – сказал я ей. – Один в поле не воин, а я еще никогда не испытывал такого одиночества, как теперь. Я бы дорого дал, чтобы найти во всем уезде хоть одного человека, на которого я мог бы положиться.

– А вы пригласите Ивана Иваныча, – сказала Марья Герасимовна.

– В самом деле! – вспомнил я и обрадовался. – Это идея! *C'est raison*,¹ – запел я, идя к себе в кабинет, чтобы написать письмо Ивану Ивановичу, – *C'est raison, c'est raison...*

¹ Это разумно (франц.)

II

Из всей массы знакомых, которые когда-то, лет 25–35 назад, пили в этом доме, ели, приезжали ряжеными, влюблялись, женились, надоедали разговорами о своих великолепных сворах и лошадях, остался в живых один только Иван Иваныч Брагин. Когда-то он был очень деятелен, болтлив, криклив и влюбчив и славился своим крайним направлением и каким-то особенным выражением лица, которое очаровывало не только женщин, но и мужчин; теперь же он совсем постарел, заплыл жиром и доживал свой век без направления и выражения. Приехал он на другой день по получении от меня письма, вечером, когда в столовой только что подали самовар и маленькая Марья Герасимовна резала лимон.

– Очень рад вас видеть, мой друг, – сказал я весело, встречая его. – А вы всё полнеете!

– Это я не полнею, а распух, – ответил он. – Меня пчелы покусали.

С фамильярностью человека, который сам смеется над своею толщиною, он взял меня обеими руками за талию и положил мне на грудь свою мягкую большую голову с волосами, зачесанными на лоб по-хохлацки, и залился тонким, старческим смехом.

– А вы всё молодеете! – выговорил он сквозь смех. – Не знаю, какой это вы краской голову и бороду красите, мне бы

дали. – Он, сопя и задыхаясь, обнял меня и поцеловал в щеку. – Мне бы дали... – повторил он. – Да вам, родной мой, есть сорок?

– Ого, уже сорок шесть! – засмеялся я.

От Ивана Иваныча пахло свечным салом и кухонным дымом, и это шло к нему. Его большое, распухшее, неповоротливое тело было стянуто в длинный сюртук, похожий на кучерской кафтан, с крючками и с петлями вместо пуговиц и с высокою талией, и было бы странно, если бы от него пахло, например, одеколоном. В двойном, давно не бритом, сизом, напоминавшем репейник подбородке, в выпученных глазах, в одышке и во всей неуклюжей, неряшливой фигуре, голосе, смехе и в речах трудно было узнать того стройного, интересного краснобая, к которому когда-то уездные мужья ревновали своих жен.

– Вы мне очень нужны, мой друг, – сказал я, когда мы уже сидели в столовой и пили чай. – Хочется мне организовать какую-нибудь помощь для голодающих, и я не знаю, как за это приняться. Так вот, быть может, вы будете любезны, посоветуете что-нибудь.

– Да, да, да... – сказал Иван Иваныч, вздыхая. – Так, так, так...

– Я бы вас не беспокоил, но, право, кроме вас, милейший, тут положительно не к кому обратиться. Вы знаете, какие тут люди.

– Так, так, так... Да...

Я подумал: предстояло совещание серьезное и деловое, в котором мог принимать участие всякий, независимо от места и личных отношений, а потому не пригласить ли Наталью Гавриловну?

– Tres faciunt collegium!² – сказал я весело. – Что, если бы мы пригласили Наталью Гавриловну? Как вы думаете? Феня, – обратился я к горничной, – попросите Наталью Гавриловну пожаловать к нам наверх, если можно, сию минуту. Скажите: очень важное дело.

Немного погодя, пришла Наталья Гавриловна. Я поднялся ей навстречу и сказал:

– Простите, Natalie, что мы беспокоим вас. Мы толкуем здесь об одном очень важном деле, и нам пришла счастливая мысль воспользоваться вашим добрым советом, в котором вы нам не откажете. Садитесь, прошу вас.

Иван Иванович поцеловал у Натальи Гавриловны руку, а она его в голову, потом, когда все сели за стол, он, слезливо и блаженно глядя на нее, потянулся к ней и опять поцеловал руку. Одета она была в черное и старательно причесана, и пахло от нее свежими духами: очевидно, собралась в гости или ждала к себе кого-нибудь. Входя в столовую, она просто и дружески протянула мне руку и улыбалась мне так же приветливо, как и Ивану Ивановичу, – это понравилось мне; но она, разговаривая, двигала пальцами, часто и резко откидывалась на спинку стула и говорила быстро, и эта неровность

² Трое составляют совет! (лат.)

в речах и движениях раздражала меня и напоминала мне ее родину – Одессу, где общество мужчин и женщин когда-то утомляло меня своим дурным тоном.

– Я хочу сделать что-нибудь для голодающих, – начал я и, помолчав немного, продолжал: – Деньги, разумеется, великое дело, но ограничиться одним только денежным пожертвованием и на этом успокоиться значило бы откупиться от главнейших забот. Помощь должна заключаться в деньгах, но главным образом в правильной и серьезной организации. Давайте же подумаем, господа, и сделаем что-нибудь.

Наталья Гавриловна вопросительно посмотрела на меня и пожала плечами, как бы желая сказать: «Что же я знаю?»

– Да, да, голод... – забормотал Иван Иванович. – Действительно... Да...

– Положение серьезное, – сказал я, – и помощь нужна скорейшая. Полагаю, пунктом первым тех правил, которые нам предстоит выработать, должна быть именно скорость. По-военному: глазомер, быстрота и натиск.

– Да, быстрота... – проговорил Иван Иванович сонно и вяло, как будто засыпая. – Только ничего не поделаешь. Земля не уродила, так что уж тут... никаким глазомером и натиском ее не проймешь... Стихия... Против бога и судьбы не пойдешь...

– Да, но ведь человеку дана голова, чтобы бороться со стихиями.

– А? Да... Это так, так... Да.

Иван Иванович чихнул в платок, ожил и, как будто только что проснулся, оглядел меня и жену.

– У меня тоже ничего не уродило, – засмеялся он тонким голосом и хитро подмигнул, как будто это в самом деле было очень смешно. – Денег нет, хлеба нет, а работников полон двор, как у графа Шереметьева. Хочу по шеям разогнать, да жалко как будто.

Наталья Гавриловна засмеялась и стала расспрашивать Ивана Ивановича об его домашних делах. Ее присутствие доставляло мне удовольствие, какого я уже давно не испытывал, и я боялся смотреть на нее, чтобы мой взгляд как-нибудь не выдал моего скрытого чувства. Наши отношения были таковы, что это чувство могло бы показаться неожиданным и смешным. Жена говорила с Иваном Ивановичем и смеялась, нисколько не смущаясь тем, что она у меня и что я не смеюсь.

– Итак, господа, что же мы сделаем? – спросил я, выждав паузу. – Полагаю, мы прежде всего, по возможности скорее, объявим подписку. Мы, Natalie, напишем нашим столичным и одесским знакомым и привлечем их к пожертвованиям. Когда же у нас соберется малая толика, мы займемся покупкой хлеба и корма для скота, а вы, Иван Иванович, будете добры, займетесь распределением пособий. Во всем полагаясь на присущие вам такт и распорядительность, мы с своей стороны позволим себе только выразить желание, чтобы вы, прежде чем выдавать пособие, подробно знакомились на ме-

сте со всеми обстоятельствами дела, а также, что очень важно, имели бы наблюдение, чтобы хлеб был выдаваем только истинно нуждающимся, но отнюдь не пьяницам, не лентяям и не кулакам.

– Да, да, да... – забормотал Иван Иванович. – Так, так, так...

«Ну, с этой слюнявою развалиной каши не сваришь», – подумал я и почувствовал раздражение.

– Надоели мне эти голодающие, ну их! И всё обижаются и всё обижаются, – продолжал Иван Иванович, обсасывая лимонную корку. – Голодные обижаются на сытых. И те, у кого есть хлеб, обижаются на голодных. Да... С голоду человек шалет, дуреет, становится дикий. Голод не картошка. Голодный и грубости говорит, и ворует, и, может, еще что похуже... Понимать надо.

Иван Иванович поперхнулся чаем, закашлялся и весь затрясся от скрипучего, удушливого смеха.

– Было дело под По... Полтавой! – выговорил он, отмахиваясь обеими руками от смеха и кашля, которые мешали ему говорить. – Было дело под Полтавой! Когда года через три после воли был тут в двух уездах голод, приезжает ко мне покойничек Федор Федорыч и зовет к себе. Поедем да поедем, – пристал, как с ножом к горлу. Отчего ж? Поедем, говорю. Ну, взяли и поехали. Дело было к вечеру, снежок шел. Подъезжаем уже ночью к его усадьбе и вдруг из лесу – бац! и в другой раз: бац! Ах ты, шут тебя... Выскочил я из саней, гляжу – в потемках на меня человек бежит и по коле-

на в снегу грузнет; я его обхватил рукой за плечи, вот этак, и выбил из рук ружьишко, потом другой подвернулся, я его по затылку урезал, так что он крякнул и в снег носом чкнулся, – здоровый я тогда был, рука тяжелая; я с двумя управился, гляжу, а Федя уже на третьем верхом сидит. Задержали мы трех молодчиков, ну, скрутили им назад руки, чтоб какого зла нам и себе не сделали, и привели дураков в кухню. И зло на них берет, и глядеть стыдно: мужики-то знакомые и народ хороший, жалко. Совсем одурели с перепугу. Один плачет и прощения просит, другой зверем глядит и ругается, третий стал на коленки и богу молится. Я и говорю Феде: не обижайся, отпусти ты их, подлецов! Он накормил их, дал по пуду муки и отпустил: ступайте к шуту! Так вот как... Царство небесное, вечный покой! Понимал и не обижался, а были которые обижались, и сколько народу перепортили! Да... Из-за одного клочковского кабака одиннадцать человек в арестантские роты пошло. Да... И теперь, гляди, то же самое... В четверг у меня ночевал следователь Анисьин, так вот он рассказывал про какого-то помещика... Да... Ночью у помещика разобрали стену в амбаре и вытащили двадцать кулей ржи. Когда утром помещик узнал, что у него такой криминал случился, то сейчас бух губернатору телеграмму, потом другую бух прокурору, третью исправнику, четвертую следователю... Известно, кляузников боятся... Начальство всполошилось, и началась катавасия. Две деревни обыскали.

– Позвольте, Иван Иванович, – сказал я. – Двадцать кулей

ржи украли у меня, и это я телеграфировал губернатору. Я и в Петербург телеграфировал. Но это вовсе не из любви к кляузничеству, как вы изволили выразиться, и не потому, что я обижался. На всякое дело я прежде всего смотрю с принципиальной стороны. Крадет ли сытый или голодный – для закона безразлично.

– Да, да... – забормотал Иван Иванович, смутившись. – Конечно... Так, да...

Наталья Гавриловна покраснела.

– Есть люди... – сказала она и остановилась; она сделала над собой усилие, чтобы казаться равнодушной, но не выдержала и посмотрела мне в глаза с ненавистью, которая мне была так знакома. – Есть люди, – сказала она, – для которых голод и человеческое горе существуют только для того, чтобы можно было срывать на них свой дурной, ничтожный характер.

Я смутился и пожал плечами.

– Я хочу сказать вообще, – продолжала она, – есть люди совершенно равнодушные, лишённые всякого чувства сострадания, но которые не проходят мимо человеческого горя и вмешиваются из страха, что без них могут обойтись. Для их тщеславия нет ничего святого.

– Есть люди, – сказал я мягко, – которые обладают ангельским характером, но выражают свои великолепные мысли в такой форме, что бывает трудно отличить ангела от особы, торгующей в Одессе на базаре.

Сознаюсь, это было сказано неудачно.

Жена поглядела на меня так, как будто ей стоило больших усилий, чтобы молчать. Ее внезапная вспышка и затем неуместное красноречие по поводу моего желания помочь голодающим были по меньшей мере неуместны; когда я приглашал ее наверх, я ожидал совсем иного отношения к себе и к своим намерениям. Не могу сказать определенно, чего я ожидал, но ожидание приятно волновало меня. Теперь же я видел, что продолжать говорить о голодающих было бы тяжело и, пожалуй, не умно.

– Да... – забормотал Иван Иванович некстати. – У купца Бурова тысяч четыреста есть, а может, и больше. Я ему и говорю: «Отвали-ка, тетка, голодающим тысяч сто или двести. Все равно помирать будешь, на тот свет с собой не возьмешь». Обиделся. А помирать-то ведь надо. Смерть не картошка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.